**Обломовка: сельская идиллия или уродливый мир? Несколько наблюдений о «сне Обломова» и об авторской позиции в романе А. Гончарова «Обломов»**

[Ранчин А. М.](http://www.portal-slovo.ru/authors/139.php)

Как хорошо известно, не существует единого мнения в истолковании авторской позиции в романе И. А. Гончарова «Обломов»; разноречивые интерпретации авторской оценки сводятся к трем точкам зрения: 1) автор — приверженец «штольцевского» отношения к жизни, сочувствующий Обломову, но ни в коей мере не разделяющий миросозерцания Ильи Ильича; 2) он признаёт и демонстрирует превосходство обломовской созерцательности над ограниченностью рационалиста и прагматика Штольца; 3) в романе сосуществуют две «правды» — «обломовская» и «штольцевская», и та и другая ограничены, не абсолютны, в идеале желателен их синтез. Представлены эти истолкования, естественно, и в изучении «Обломова» в школе.

Попробуем внимательно прочесть лишь один из фрагментов романа — «Сон Обломова», смысл которого, как и авторская позиция в целом, истолковывается по-разному. Одни исследователи настаивают на том, что Гончаров представил в этом пространном фрагменте картину утопического благоденствия, идиллию, подобие земного рая, которого лишился повзрослевший Илья Ильич; другие видят в образе жизни и нравах Обломовки воплощение косности, мертвенного «застоя» и примитивизма. Между тем адекватное толкование «Сна Обломова» абсолютно необходимо для понимания отношения автора к герою: характер и миросозерцание Ильи Ильича порождены обломовским укладом.

На первый взгляд Обломовка — действительно безмятежный идиллический мир: «Измученное волнениями или вовсе не знакомое с ними сердце так и просится спрятаться в этот забытый всеми уголок и жить никому не ведомым счастьем» (ч. 1, гл. IX). Течение времени определяется здесь сменой времён года, это время природы, а не истории: «Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг» (ч. 1, гл.IX). В таком круговороте, противопоставленном линеарному времени, времени истории и уникальной человеческой жизни, есть однообразная мерность, но зато нет трагизма и даже драматичности.

Но эта жизнь — обезличенная, человек в ней подчинён от века исполняемому ритуалу, он функция, а не лицо, актёр на сцене с неизменным антуражем: «<…> начинались повторения: рождение детей, обряды, пиры, пока похороны не изменят декорации; но ненадолго: одни лица уступают место другим, дети становятся юношами и вместе с тем женихами; женятся, производят подобных себе — и так жизнь по этой программе тянется беспрерывной однообразною тканью, незаметно обрываясь у самой могилы» (ч. 1, гл. IX).

Символичны часы в доме Обломовых; их бой очень странный: «<…> в эту минуту в комнате раздалось в одно время как будто ворчанье собаки и шипенье кошки, когда они собираются броситься друг на друга. Это загудели часы.

—Э! Да уж девять часов! — с радостным изумлением произнес Илья Иванович. — Смотри-ка, пожалуй, и не видать, как время прошло» (ч. 1, гл. IX).

Ворчливый и шипящий бой часов словно бы обозначает сдавленное, с трудом прорывающееся «наружу» время. Похожие часы были у гоголевской помещицы Настасьи Петровны Коробочки: «Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щёлкать направо и налево» («Мёртвые души», т. 1, гл. 3).

«Гармония» в Обломовке достигнута за счёт духовных стремлений и душевных движений; в Обломовке угождают плоти, думая не о пище духовной: «Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке» (ч. 1, гл. IX). Наряду с вкушением пищи важнейшим времяпрепровождением для обитателей этого затерянного мирка является сон: «Это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти. Все мертво, только из всех углов несется разнообразное храпение на все тоны и лады.

Изредка кто-нибудь вдруг поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением, на обе стороны и перевернётся на другой бок или, не открывая глаза, плюнет спросонья и, почавкав губами или поворчав что-то под нос себе, опять заснёт» (ч. 1, гл. IX).

Сравнение этого сна со смертью многозначительно: существование обломовцев — «полужизнь», пробуждение бессмысленно и мучительно. Так же бессмысленно будет глядеть вокруг сам Обломов в конце 1-й части романа, насилу разбуженный Захаром; и не случайно смерть Ильи Ильича овеяна метафорами сна: «Ветви сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его»; «Однажды утром Агафья Матвеевна принесла было ему, по обыкновению, кофе — и застала его так же кротко покоящегося на ложе смерти, как на ложе сна» (ч. 4, гл. Х). Смерть и питание плоти, обозначенное приносимой чашечкою кофе, идут и здесь рука об руку. Стёртая метафора «мёртвая тишина» в описании жизни Обломовки обретает зловещую буквальность: «И в доме воцарилась мёртвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна» (ч. 1, гл. IX). В отрадный мир родного имения, в свой личный рай Илья Ильич, наверное, может вернуться, только расставшись с жизнью.

В Обломовке не любят ничего менять и испытывают страх перед новым, незнакомым. Не чинили галерею – и часть её наконец обрушилась и задавила наседку с цыплятами, чуть было не погибла и дворовая — Аксинья. Один из крестьян предпочитает карабкаться к двери избы по обвалившемуся склону, но ни за что не переставит дверь и крыльцо. Крестьяне панически боятся упавшего при дороге обессилевшего странника, полагая, что это принявшее человеческий облик чудище. Это ли отрадная идиллия?

Архаичное сознание обломовцев лишено рефлексии, сознательного отношению к действительности, дисциплины воли; они подобны «бедным предкам: «Ощупью жили бедные предки наши; не окрыляли и не сдерживали они своей воли, а потом наивно дивились или ужасались неудобству, злу и допрашивались причин у немых, неясных иероглифов природы» (ч. 1, гл. IX).

Бездеятелен прежде всего отец, Илья Иванович (писатель также по ошибке называет его и Ильёй Ильичём). О его «делах», «занятиях» сказано с иронией: «Сам Обломов — старик тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе.

—Эй, Игнашка? Что несешь, дурак? — спросит он идущего по двору человека.

—Несу ножи точить в людскую, — отвечает тот, не взглянув на барина.

—Ну неси, неси; да хорошенько, смотри, наточи!

Потом остановит бабу:

—Эй, баба! Баба! Куда ходила?

—В погреб, батюшка, — говорила она, останавливаясь и, прикрыв глаза рукой, глядела на окно, — молока к столу достать.

—Ну, или, иди! — отвечал барин. — Да смотри, не пролей молоко-то».

Неизбежно вспоминаются разговоры, которые гоголевский помещик Манилов вёл со своими крестьянами: «Хозяйством нельзя сказать чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: "Хорошо бы, барин, то и то сделать", - "Да, недурно”, - отвечал он обыкновенно <…>. "Да, именно недурно", - повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: "Барин, позволь отлучиться на работу, подать заработать", - "Ступай", - говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать» («Мёртвые души», т. 1, гл. 3).

В мире Обломовки новая информация пугает, а коммуникация затруднена, она вязнет в этом киселеобразном сонном пространстве. Хозяева как-то получили письма от соседа Филиппа Матвеича Радищева с просьбой прислать ему рецепт пива (и Обломовы-родители, и их гости почитали Радищева давно умершим — никаких известий о нём долгое время не было). Письмо распечатали на только на четвертый день, до этого были в панике, ответ Илья Иванович начал писать через несколько недель, да так и не написал. Писание письма — событие исключительное, тягостное и почти трагическое: «В доме воцарилась глубокая тишина; людям не велено было топать и шуметь. “Барин пишет!” — говорили все таким робко-почтительным голосом, каким говорят, когда в доме есть покойник.

Он <…> вывел: “Милостивый государь”, медленно, криво, дрожащей рукой и с такою осторожностью, как будто делал какое-нибудь опасное дело <...>» (ч. 1, гл. IX).

Интересы обитателей Обломовки и их гостей убоги: например, они могут бесконечно обсуждать, чтó предвещает чешущийся кончик носа (ч. 1, гл. IX). Чтение, которому иногда предаётся отец Илюши — действие совершенно механическое: отец Обломова «увидит доставшуюся ему после брата небольшую кучку книг и вынет, не выбирая, что попадется. Голиков ли попадется ему, *Новейший* ли *Сонник*, Хераскова *Россияда*, или трагедии Сумарокова, или, наконец, третьегодичные ведомости — он все читает с равным удовольствием <…>» (ч. 1, гл. IX). «Деяния Петра Великого» Голикова, книга толкований сновидений и героическая поэма Хераскова составляют необыкновенное соседство: и объяснить такое «*сопряжение далековатых*» *книг* можно только предположив, что Илье Ивановичу безразлично, чтó именно читать. Совсем как гоголевскому Петрушке. Петрушка «имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно всё равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, - он все читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чёрт знает что и значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка» («Мёртвые души», т. 1, гл. 2).

Совершенное безразличие к содержанию, к новизне информации проявляет Обломов-отец при чтении газет: «Иногда он из третьегодичных газет почитает и вслух, для всех, или так сообщает им известия» (ч. 1, гл. IX). Газета — носитель информации свежей, горячей, устаревающий почти в одночасье; но, невзирая на сие, Илья Иванович любит читать «новости» из газет трёхлетней давности!

Да, жизнь в Обломовке безмятежна, легка и проста. Её выразительнейший символ — гомерический, беззаботный смех. Но чем он вызван? Воспоминаниями о трёхлетней давности истории — о том, как помещик Лука Савич, катаясь на салазках, упал и «бровь расшиб»: «Напрасно он силился досказать историю своего падения: хохот разлился по всему обществу, проник до передней и до девичьей, объял весь дом, все вспомнили забавный случай, все хохочут долго, дружно, *несказанно*, как олимпийские боги. Только начнут умолкать, кто-нибудь подхватит опять — и пошло писать» (ч. 1, гл. IX).

Господа Обломовы и их гости смеются весело, радостно, но у читателя, как и у самого сочинителя, их беззаботное веселье должно вызвать только саркастическую ухмылку.

Времяпрепровождение обломовцев гармонирует с идеалом вольготной жизни из народных сказок, которые в детстве Илюша слышал от няни: «Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших предков, а может быть, еще и на нас самих» (ч. 1, гл. IX). Почему сказка Емеле-дурачке названа *коварной* сатирой? Наверное, потому, что вольготная жизнь, когда все трудности преодолеваются и работа исполняется чудесной щукой (у взрослого Ильи Ильича вместо этой щуки есть друг Андрей Штольц), *соблазнительна*. (Кстати, на самом деле сказка о Емеле, конечно, не сатира в собственном смысле слова, и автор «Обломова» это, очевидно, понимал.)

Нянины сказки, а также и былины о подвигах богатырей, побеждающих страшных ворогов («Илиада русской жизни», которую няня рассказывала «с простотою и добродушием Гомера» (ч. 1, гл. IX)), пленили воображение ребёнка и исказили его восприятие жизни: «Населилось воображение мальчика странными призраками; боязнь и тоска засели надолго, может быть навсегда, в душу. Он печально озирается вокруг и всё видит в жизни вред, беду, всё мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, <…> где так хорошо и кормят и одевают даром…» (ч. 1, гл. IX).

В этих строках Гончарова скрывается аллюзия на заупокойную молитву «Боже духов…», в которой Бога просят: «…упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего <…> в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание <…>». Но в молитве испрашивается райская жизнь, невозможная на земле, Обломов же грезил о райском блаженстве *на земле*, безнадёжно мечтал о недостижимом.

Обломовка воспитала в мальчике неизбывную лень: «<…> у него навсегда остаётся расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счёт доброй волшебницы» (ч. 1, гл. IX). И вновь Гончаров расцвечивает страницы романа гоголевскими красками. Эти слова перекликаются с фразой из письма Хлестакова приятелю Тряпичкину: «Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали нашерамыжку и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счёт доходов аглицкого короля?» («Ревизор», д. 5, явл. ).

Хорош ли *такой* Обломов, чья барственность была взращена тучной почвой родных мест: «Захар, как, бывало, нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему лежа то одну, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос» (ч. 1, гл. Х)?

Обломову-ребёнку присущи были не только леность и барственность (они-то как раз укоренились в его душе со временем), но и необъяснимая, немотивированная жестокость: мальчик «прислушивался, как кто-то все стрекочет в траве, искал и ловил нарушителей этой тишины; поймает стрекозу, оторвёт ей крылья и смотрит, что из неё будет, или проткнёт сквозь неё соломинку и следит, как она летает с этим прибавлением; с наслаждением, боясь дохнуть, наблюдает за пауком, как он сосёт кровь пойманной мухи, как бедная жертва бьётся и жужжит у него в лапах. Ребенок кончит тем, что убьёт и жертву, и мучителя» (ч. 1, гл. IX).

Конечно, хочется избавить Илюшу от поспешных обвинений в садистских наклонностях, — ведь взрослый Илья Ильич станет человеком добрым или хотя бы добродушным, и не случайно Штольц будет говорить о «голубиной кротости» его души. Да, Гончаров фиксирует не столько нравственный изъян, сколько действительно свойственную сознанию почти любого ребёнка жестокость: так ребёнок стремится познать мир вокруг и постичь природу живых существ с их смертностью, и ощутить границы (или безграничность) своей власти над этими существами. И всё же… Писатель не мог не учитывать, что эти строки вызовут в читающем если не отвращение к персонажу, то чувство отторжения. И зачем в романе это упоминание о детской жестокости, исполненной жадного любопытства? Вероятно, писатель указывает скорее на индивидуальные черты героя — не на самоё жестокость, а на слабое осознание другого «я», на наивный, еще неосознанный эгоизм, на желание вершить по своей воле всё в мире вокруг, властвовать над жизнью и смертью.

Что же можно сказать о жизни Обломовки, нарисованной в сне гончаровского персонажа? Пусть в Обломовке очень редки смерти и почти нет треволнений, пускай крепкими и здоровыми растут дети, а родители их смеются так же безмятежно, как боги на Олимпе. Пусть в миросозерцании обломовцев воплощены кардинальные свойства русской души… Если это идиллия, то по крайней мере не менее пародийная, чем серьезная, не менее уродливая, чем поэтичная.

Казалось бы, сильные доказательства поэтичности и почти идеальности мира Обломовки нашел Юрий Лощиц, автор известной, недавно переизданной, книги «Гончаров» (серия «Жизнь замечательных людей»). Восточные обертоны образа Обломова и его мира (от персидского халата и ширм с диковинными птицами до местоположения поместья у самых границ Азии), убежден Юрий Лощиц, символизируют покой и сон как черты восточного сознания и бытия в их ценностном противопоставлении западным прагматизму, техницизму, рационализму (см.: Лощиц Ю. Гончаров. М., 2004. С. 191—192). А Штольц трактуется как демон-искуситель, «змий», пытающийся нарушить безмятежно-райский покой, «сон» Ильи Ильича.

Восточные мотивы в «Обломове» и вправду существенны. Но они отнюдь не говорят ни об Илье Ильиче, ни об «обломовщине» хорошо. Юрий Лощиц назвал одним из ключей к роману книгу Гончарова «Фрегат “Паллада”», в которой описано путешествие автора, посетившего восточные страны. Но отношение автора книги «Фрегат “Паллада”» к косному Китаю и оцепенелой Японии, исполненной суеверного страха перед пришельцами, невероятно далеко от пиетета и даже простой симпатии. Особенно досадили путешественникам японские чиновники: русский корабль фрегат «Паллада» с посольской миссией застрял на несколько месяцев в порту Нагасаки: японцы постоянно чинят гостям мелкие неприятности, побуждая к отплытию, медлительность их церемоний и педантизм в соблюдении этикета даже флегматичного Гончарова едва не вывели из себя.

Правда, Юрий Лощиц, вероятно, соотносит мир Обломовки не с Китаем и с Японией, а с Ликейскими островами: «Ликейские острова на карте путешествия Гончарова — место знаменательное, почти символ. В каждом путешественнике, будь то древние Одиссей и Эней, средневековые паломники или трезвые литераторы и ученые нового времени, теплится вера в реальность “блаженных островов” — затерянного, забытого всеми, но целого и доныне пристанища, где не сеют, не жнут, не страдают, ни старятся… Такое место должно существовать не только в подтверждение легенд и сказок человечества, но и как укор остальному миру, как доказательство того, что человек способен жить свято и безгрешно, даже не прилагая к тому никаких усилий. Цивилизация обещает создание земного блаженства с помощью воздействия на весь природный мир. Она обещает предоставить человеку разнообразнейшие удобства, комфорт телесный и духовный. Но почти каждый практический шаг в этом направлении, как бы ни был впечатляющ, неминуемо приносит новые страдания, болезни. Может быть, цивилизация — не более как хитроумная пародия на древнее предание о блаженной жизни? Но тогда Ликейские острова должны торчать у нее бельмом на глазу. Ибо уголок этот — самая настоящая антицивилизация, полярная противоположность “гуманного” европеизма. Итак, выстоят “блаженные острова” или их ждет участь всего Востока?

Поздно! — чуть не с досадой восклицает путешественник. Поздно» (Там же. С. 119).

Приведя гончаровскую характеристику малосимпатичного английского проповедника Беттельгейма, поселившегося для проповеди христианской веры на одном из островов, Лощиц патетически-скорбно восклицает: «…О Ликейя, Ликейя, скоро и до тебя доберутся черные фраки! Расковыряют твои холмы в поисках каменного угля (по Гончарову, самый драгоценный минерал XIX века) или просто станут за деньги показывать твой рай в качестве аттракциона туристам обоих полушарий» (Там же. С. 119-120). Обломовка для Юрия Лощица — несомненное подобие этих «остовов блаженных».

Но так ли это? Прежде всего, действительно ли и абсолютно «идилличны» Ликейские острова в книге Гончарова «Фрегат “Паллада”»? Вчитаемся в их описание: «Еще издали завидел я, у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьезными лицами, в широких, простых, но чистых халатах с широким поясом, виделись - совестно и сказать "старики", непременно скажешь "старцы", с длинными седыми бородами, с зачесанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. За них боязливо прятались дети. "Что это такое? - твердил я, удивляясь всё более и более, - этак не только Феокриту, поверишь и мадам Дезульер и Геснеру (известные авторы идиллий; ниже перечисляются идиллические персонажи. — *А. Р.*) с их Меналками, Хлоями и Дафнами; недостает барашков на ленточках"».

Да, на первый взгляд это идиллический край. И страшно, что он погибнет от вторжения цивилизации Запада: «Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер. Это не дикари, а народ — пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди с полным, развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели. Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены. Люди, страсти, дела - всё просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. Книг, пороху и другого подобного разврата нет. Посмотрим, что будет дальше. Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок? Тронет, и уж тронула. Американцы, или *люди Соединенных Штатов*, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив здесь больных матросов да двух офицеров, а с ними бумагу, в которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова под свое покровительство против ига японцев, на которых имеют какую-то претензию, и потому просят других не распоряжаться. Они выстроили и сарай для склада каменного угля, и после этого *человек Соединенных Штатов*, коммодор Перри, отплыл в Японию».

Но почему же в этом «земном раю» так безобразны женщины? Причём не просто безобразны, а похожи на чертей!

«Мы продолжали идти в столицу по деревне, между деревьями, которые у нас растут за стеклом в кадках. При выходе из деревни был маленький рынок. Косматые и черные, как чертовки, женщины сидели на полу на пятках, под воткнутыми в землю, на длинных бамбуковых ручках, зонтиками, и продавали табак, пряники, какое-то белое тесто из бобов, которое тут же поджаривали на жаровнях. Некоторые из них, завидя нас, шмыгнули в ближайшие ворота или узенькие переулки, бросив свои товары; другие не успели и только закрывались рукавом. Боже мой, какое безобразие! И это женщины: матери, жены! Да кто же женится на них? Мужчины красивы, стройны: любой из них годится в Меналки, а Хлои их ни на что не похожи! Нет, жаркие климаты не благоприятны для дам, и прекрасным полом следовало бы называть здесь нашего брата, ликейцев или лу-чинцев, а не этих обожженных солнцем лу-чинок».

А вот описание отвратительной наружности старухи, сравниваемой с обезьяной: «Мы, входя, наткнулись на низенькую, чёрную, как головешка, старуху с плоским лицом. Она, как мальчишка же, перепугалась и бросилась бежать по грядам к лесу, работая во все лопатки. Мы покатились со смеху; она ускорила шаги. Мы хотели отворить ворота — заперты; зашли с другой стороны к калитке — тоже заперта. Оставалось уйти. Мы посмотрели опять на бегущую всё еще вдали старуху и повернули к выходу, как вдруг из домика торопливо вышел заспанный старик и отпер нам калитку, низко кланяясь и прося войти. <…> Я посмотрел, что старуха? Она в это время добежала до первых деревьев леса, забежала за банан, остановилась и, как орангутанг, глядела сквозь ветви на нас. Увидя, что мы стоим и с хохотом указываем на нее, она пустилась бежать дальше в лес».

Обезьяна, по средневековым представлениям, которые не мог не учитывать Гончаров, именующий ликейских женщин «чертовками», — демоническая пародия на человека, созданного по образу и подобию Божию. Странная, оказывается, эта идиллия! Первый взгляд путешественника оказался близоруким. «Чертовкам» в «земном раю» явно не место, а страх ликейских женщин перед русскими путешественниками производит впечатление не только комичное, но и неприятное. Но пугливы не только женщины: «Но что делают жители? Они с испугом указывают на нас: кто успевает, запирает лавки, а другие бросают их незапертыми и бегут в разные стороны. Напрасно мы маним их руками, кланяемся, машем шляпами: они пуще бегут. Я видел, как по кровле одного дома, со всеми признаками ужаса, бежала женщина: только развевались полы синего ее халата; рассыпавшееся здание косматых волос обрушилось на спину; резво работала она голыми ногами. Но не все успели убежать: оставшиеся мужчины недоверчиво смотрели на нас; женщины закрылись».

Красивые мужчины и безобразные женщины словно олицетворяют два лика Ликейских островов — идиллический и уродливый.

Боги ликейцев напоминают бесов — увиденный путешественниками идол похож на дьявола: «Мы походили еще по парку, подошли к кумирне, но она была заперта. Сидевший у ворот старик предложил нам горшочек с горячими угольями закурить сигары. Мы показывали ему знаками, что хотим войти, но он ласково улыбался и отрицательно мотал головой. У ворот кумирни, в деревянных нишах, стояли два, деревянные же, раскрашенные идола безобразной наружности, напоминавшие, как у нас рисуют дьявола. Я зашёл было на островок, в другую кумирню, которую видел с террасы дворца, но жители, пока мы шли вниз, успели запереть и ее».

Безмятежная жизнь роковым образом сращена с безволием и апатией; ликейцы зависят от окрестных стран — от Китая и Японии: «Ликейцы находились в зависимости и от китайцев, платили прежде и им дань; но японцы, уничтожив в XVII столетии китайский флот и десант, посланный из Китая для покорения Японии, избавили и ликейцев от китайской зависимости. Однако ж последние все-таки ездят в Пекин довершать в тамошних училищах образование и оттого знают всё по-китайски. Письменного своего языка у них нет: они пишут японскими буквами. Ездят они туда не с пустыми руками, но и не с данью, а с подарками - так сказал нам миссионер, между тем как сами они отрекаются от дани японцам, а говорят, что они в зависимости от китайцев. Кажется, они говорят это по наущению японцев; а может быть, услышав от американцев, что с японцами могут возникнуть у них и у европейцев несогласия, ликейцы, чтоб не восстановить против себя ни тех ни других, заранее отрекаются от японцев».

Но главное — мир Ликейских островов чужд «жизни духовной»: «Это не жизнь дикарей, грязная, грубая, ленивая и буйная, но и не царство жизни духовной: нет следов просветлённого бытия. Возделанные поля, чистота хижин, сады, груды плодов и овощей, глубокий мир между людьми — всё свидетельствовало, что жизнь доведена трудом до крайней степени материального благосостояния; что самые заботы, страсти, интересы не выходят из круга немногих житейских потребностей; что область ума и духа цепенеет ещё в сладком, младенческом сне, как в первобытных языческих пастушеских царствах; что жизнь эта дошла до того рубежа, где начинается царство духа, и не пошла далее... Но всё готово: у одних дверей стоит религия, с крестом и лучами света, и кротко ждет пробуждения младенцев; у других - "люди Соединенных Штатов" с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими орудиями новейшей цивилизации...».

В конечном счете, Гончаров, не доверяя рассказам встреченного им английского миссионера Беттельгейма, обвинявшего ликейцев в повальном пьянстве и в страсти к азартным играм, не соглашается и с другим англичанином — путешественником Галлем, посетившим Ликейские острова за сорок лет до русского писателя и нарисовавшим их обитателей невинными детьми природы, обитателями «земного рая»: «Я действительно не верю Галлю, но не верю также и ему (английскому миссионеру. — *А. Р.*): первого слишком ласково встречали, а другого... поколотили (Беттельгейм претерпел побои от туземцев. — *А. Р.*); от этого два разных голоса».

Гончаров всё-таки прогрессист, хотя и умеренный, «не фанатичный». Развитие цивилизации в его представлении сопряжено с утратами, но оно неостановимо и, в общем и целом, приветствуется автором «Фрегата “Паллады”».

Сравнение Обломовки с Ликейскими островами отнюдь не приводит к апологии родных мест Ильи Ильича. И, естественно, к апологии самого Обломова. Да, Обломов не равен Обломовке, да и в самой Обломовке есть притягательно-манящие, но потому и «коварные» черты. Да, у Обломова есть достоинства, чуждые Штольцу (другой вопрос, насколько эти привлекательные свойства производны от быта Обломовки и воспитания Илюши). Но, очевидно, по крайней мере, что Обломовка не «рай земной», не идиллия. Это мир благополучия и простых радостей, но мир примитивный, о котором можно вздыхать, а порою и мечтать, но вернуться в который не только невозможно – возвращаться туда не следует.